

Моя уверенность: я хорошо знал Александра Морева, не основано на тесном знакомстве. В служебной комнате, на Кржковом канале, я увидел его первый раз в году 1973-м- пришел с друзьями Владимиром Алексеевым и Олегом Базуновым. Запомнилось: резко неправильные черты лица и деликатность, которую хочу назвать талантливой. Встречались редко, говорили о литературно-общественном, но сразу без дистанции, я, кажется, предложил применять к общению товарищескую иронию, он- в суждениях угловатость и максимализм. Позднее я понял что максимализм и угловатость- это эстетика Морева, экспрессионизм, воспринятый и как публичная жизненная позиция, но жжк к друзьям, к их личным вкусам, и к тому, как они решали свои собственные жизненные задачи, он относился мягко и даже... нежно. Я чувствовал это противоречие- и иронизировал. Он чуть виновато улыбался, когда я напоминал ему о максималистских девизах, которые слышал от него. Теперь я понимаю, что радикализму Морев следовал, но следовал, как уставший, ранимый, а часто и как одинокий странник.

Этим Александр Морев похож на многих авангардистов 60-х годов, среди которых он был один из первых. 60-е годы для советской общественности эпоха славная. Но круты были горки, по которым первым ее пионерам пришлось пройти. Крутые горки- это реальный исторический рельеф, хотя у каждого неконформиста в судьбе составила своя карта. Валерий Попов в то время сделал точный вывод: "Мы романтики- прагматики". И в разговорах Морев выступал романтиком, а я прагматиком и, очевидно, мы прекрасно понимали друг друга.

Морев- стихотворец, живописец, график, прозаик. Я лучше его знал, как прозаик. Он приносил папки с рассказами, написанными в разные годы, и на каждом регистрационный штемпель журнала "Нева", в котором, насколько мне известно не было опубликовано ни одной его строчки, но где он подрабатывал как иллюстратор.

Как прозаик, Морев шел от Хемингуэя и Ремарка, позд-

нее- близок стал Толстой. Это влияние нестилистическое, думаю, творчество этих писателей попросту давало многое, чтобы понять себя. У всех этих писателей есть общее: их герой в переживании широкого исторического действия находит свое лицо, свою точку зрения, из социально-общего берет побег индивидуальной биографии. Возникает удвоение, которое можно показать на примере Пьера Безухова. Он с сотнями тысяч людей участник Бородинского сражения и, как русские солдаты, также не менее бесстрашен, но и в характере грандиозной битвы он ищет решение своей личной задачи. Из одного исторического действия вытекают различные следствия. Одни из них, если можно так выразиться, "выигрышны", другие - это взбудораженная совесть, духовная травма, которая не позволяет "забыться и уснуть". В одном из лучших рассказов Морева "Раненный и трус" - об этом. И в этом основа типа того мужества, которыми отмечены герои названных писателей: мужество жить раненым.

Его творчество можно назвать реалистическим в том смысле, что как автор он относится с доверием лишь к тому, что обладает чувственной достоверностью, а не социальной ангажированностью. Страсти, чувства, влечения - и потому яркая эмоциональная окраска всего того, что он изображал, и отсюда - экспрессионизм, как резкая эмоциональная определенность, изображаемого мира позволяли узнавать его повести и рассказы с первого абзаца. В некоторых - он приближался к физиологизму, в других - "Под цвет японских гравюр" / "Часы" № / к романтическому монологу. Он пытался нащупать в человеке и обществе то органическое ядро, которое существует вне официальных трафаретов морали и образцов. Со страстным началом в человеке связана романтическая приподнятость творчества Александра Морева. Истоки романтизма 60-х гг., отчасти надежды на либерализацию, но экзистенциальная опора - аутентичные ценности: природа, любовь, дружба.

Страсть - это один из способов познания реальности. Максимализм - ее неизбежное следствие. Но драматизм этой жизненной установки очевиден. В конце концов все решает та же природа человека, - то, что происходит внутри нее,

помимо и даже вопреки воле человека. Человек не может удержаться на вершинах экстаза, пафоса, страсти, влечения, чем выше его эмоциональный взлет, тем глубже депрессия, которая за ним следует, тем глубже потемки его сознания, ибо и надежда и вера, и мужество, и ясность в этом способе жизни оказываются лишь производными этих высших с романтической точки зрения состояний духа. Человек, если он художник, оказывается в этих сумраках бесплодным, ненужным, случайным гостем бытия. Обнаруживается уникающая человека зависимость от тех обычных средств, которыми он поддерживает остроту чувственного восприятия жизни: никотин, алкоголь, эротика. Но самая страшная угроза — это возраст. И я не знаю никого из славного поколения 60-х гг., кто не пережил бы глубочайшего кризиса, кто не восстал бы в какой-то миг против природы в самом себе на рубеже своей осени.

Я не хочу создать впечатление полной ясности в диагностике кризиса, но для меня полны смысла немногие и беглые разговоры с Александром Моревым о христианстве и о Толстом, о котором он в рассказе "Для радости" / "Часы" № 13/ заговорил публицистично, нарушая эстетические правила новеллистики. Как мне кажется, Мореву влекла тема жертвы и диалектика поражения, имеющих смысл в духовном становлении человека, мысль о жертве ради других, о... Спасителе. Его видели в пасху у Владимирской церкви. Пришел он в церковь один и был рад, что ему удалось попасть на Пасхальную службу.

Вспоминается запись в дневнике Рихарда Вагнера:
"Природа не святая сама по себе. Она становится святой, когда отказывается от себя."

Борис Иванов